

Два дня Виктюк показывал мне Львов. Свой Львов. Все, что требовалось от меня, — не мешать Роману Григорьевичу вопросам, ходить следом и слушать. Вот и вы послушайте.

АНДРЕЙ ВАНДЕНКО, АНДЖЕЙ ПОЛЯКОВ (фото)

Библиотека памяти

— Едва ли что-нибудь нравилось мне в жизни больше, чем фасады и портки родного города. Из содержания их, классических, эклектичных, выполненных в самых невероятных стилях, я узнал об истории мира больше, чем из любой прочитанной книги. Помню, по дороге в школу смотрел на дома и погружался в невероятные фантазии: не успев побывать нигде, кроме Львова, я видел Италию, Грецию, Польшу... Потом, через много-много лет, я находил родные улочки в Риме, Афинах, Кракове, в чужих городах встречал Львов и возвращался в детство, становился ребенком. А ребенок — это прежде всего эстет. Он реагирует на видимость, внешность, очертания и формы. Львов стал для меня своеобразной декорацией, в которой бесконечно репетировался некий спектакль. Менялись актеры, костюмы, мишансены, атмосфера на сцене была трагической, комической, лирической, но день премьеры так и не наступал. Спектакль не сыгран до сих пор. Спектакль, где, как подсказывает память, должно быть четыре действия. Естественно, воспоминания содержат только детали, а не целостную картину. Я не могу охватить каждый из этих актов, помню лишь эпизоды, а не весь спектакль. На мой взгляд, память человека похожа на библиотечные полки, на которых кто-то перепутал книги. Наверное, тут есть и полные собрания сочинений, но тома стоят в таком беспорядке, что сразу ничего не найдешь. Остается снимать со стеллажей отдельные книги и заглядывать под обложку в поисках имени автора...

Смерть Сталина

Я помню, как нас освободила Советская армия (Виктюк так и говорит: «советская» — А.В.). На танках. На улицах появились жены русских офицеров. Они шеголяли в ночных сорочках, найденных в шкафах бежавших от Советов львовянок. Офицеры не подозревали, что гуляют в белье, а не в вечернем платье... Но меня поражило не это, не появление новых персонажей, а исчезновение старых. Из привычных львовских декораций вдруг пропали газовые фонари, которыми город гордился. Нет, фонари остались, но теперь их перестали зажигать. А прежде каждый вечер на центральную площадь Рынок, где я жил, важно ступал фонарщик и обходил все четыре фонаря, поднося к газовому рожек огонь на длинном-предлинном шесте. Мы, мальчишки, стояли рядом. Когда загорался последний фонарь, наступал вечер... Вслед за фонарями с городских улиц исчезли дрожки. Исчезли те, кто возил, и те, кого возили...

Пропали церковные процессии, казавшиеся неотъемлемой частью Львова. Город привык отмечать праздники всем миром. Теперь и этого не стало... Исчезла многоголосоица языков, которая была нормой в любом львовском дворе. Вокруг меня жили поляки, евреи, немцы, украинцы. Мы прекрасно понимали друг друга. И вдруг все языки заснонила чужая, незнакомая до того речь, которую называли великим русским языком... Польский, немецкий, еврейский стали удаляться, превращаясь в эхо, а нашим воздухом становился русский.

Еще я сразу столкнулся с Лениным. Помню его фотографию в учебнике. В полуобном френче он сидит на садовой скамье рядом со Сталиным. Потом оказалось, что по числу фото Сталина даже превосходят ленинские. Не знаю почему, но все печатное я сразу стал воспринимать как ложь. Страницы начавшей тогда выходить «Львовской правды» не могли прикрывать странность и убогость окружающей жизни... Кстати, когда лет десять назад на проспекте Свободы сносили памятник Ленину, оказалось, что в основании монумента вождю пролетариата лежат могильные плиты, свезенные с трех львовских кладбищ — польского, украинского и еврейского. Ком-

мунисты так спешили установить памятник, что даже имена с плит стирать не стали...

На протяжении десятилетий мы жили в окружении официально-официального вранья. Спасало отсутствие лжи дома. Правда, позже я понял, что ключи к характеру человека не следует искать в детстве.

То, что было в первом акте, события, разворачивавшиеся в послевоенных декорациях, не повлияли на мои способности любить и страдать. Я научился не замечать фальшь, паршивую вокруг, усвоил первый урок режиссуры — умение отключаться, сделать шаг по пути отчуждения. Как ни старались тогда в школе запечатать нас возвышенным идеологическим вздором, мы оставались чисты. На каждый советский праздник я брал в пионерском театре, где уже играл главные роли, коробку с гримом и бинт, заматывая руку и сверху мазал ее красной краской. Затем приходил в школу и говорил, что неудачно упал и сильно разбил, по этому не смогу нести на демонстрацию портрет великого вождя человечества. Физичка Ганна Федотивна (навсегда запомнил это имя!) тут же громко оповещала, что у Виктюка опять большие руки... В день смерти Сталина от счастья смеялась, по-моему, вся школа. Только физичка Ганна Федотивна плакала. Она рыдала и не могла понять, почему у нас, детей, не текут слезы из глаз. Когда надо было идти на траурный митинг к памятнику Иосифу Виссарионовичу, Ганна Федотивна закричала: «Бегите в туалет и намочите лица водой. Я не могу допустить, чтобы наша 44-я школа так не трагически воспринимала гибель вождя!» И мы действительно помчались в туалет. Надо было слышать, как мы хохотали, обливая друг друга! А потом шли по улице, стараясь пригнать облику трагический вид. Но советская вода быстро высыхала на наших щеках, а дорога предстояла длинная, и мы размазывали слюны, изображая скорбь. Наш смех не был кощунством, он спасал, защищал от ужасов бытия.

Пересылка и бандеровцы

...Мой путь в школу лежал мимо городской пересыльной тюрьмы, расположенной в самом центре, рядом с оперным театром. Очереди с передатками, о которых я потом читал у Ахматовой, стали моим каждодневным трагическим зрелищем. Слезы, боль, страдания висели в воздухе, я ощущал их физически. Это была атмосфера спектакля, разыгрывавшегося на наших глазах. Окна верхнего этажа школы выходили во двор пересылки, и мы видели прогулки людей, ожидавших отправки в Сибирь, слышали проклятия, крики и слова молитвы, долетавшие из-за стены. Там были людские толпы. Толпы — без счета, без судеб, без фамилий. На всех одно имя — бандеровцы. Советские режиссеры, устроившие этот жуткий спектакль, не справлялись с массовой, ее нужно было срочно изолировать, освободить место для новых арестантов. Среди узников пересылки находился и мой родной дядя, вуйко Василь. Мама каждое утро в пять часов занимала очередь, чтобы хоть что-то передать брату... Вуйко Василь 17 лет провел на лесоповале. Когда он вернулся из Сибири, я увидел его глаза. Светлее и добрее взгляда мне не доводилось встречать в жизни. Может, только папа римский еще так смотрел на меня, когда я был у него в Ватикане лет двенадцать тому назад... За что сидел вуйко Василь? Разве тогда нужна была причина, чтобы получить срок? Во время выпускного экзамена в десятом классе в нашу аудито-

рию вошли энкавдисты и, ничего не говоря, взяли за руки троих моих одноклассников и вывели их в коридор. Они исчезли навсегда. Директор потом говорил, что ребята были явными пособниками бандеровцев...

Для многих спасением оставалась греко-католическая церковь, но ее решили уничтожить в одночасье. Как это делалось, я видел сам. Однажды по дороге в школу я встретил уважаемого в городе священника Костельника, спешившего куда-то по делам. Вдруг святого отца погнала машина, и раздался выстрел. Костельник упал, но к нему никто не подбежал. Из-за угла появилась другая машина, она притормозилась возле лежащего, из кузова выскочили какие-то люди, схватили тело — и автомобиль скрылся. Все! Мы постояли и... пошли в школу — слушать рассказы о советской власти. Историю СССР нам преподавала Ирина Петровна Лудык. Ей было, наверное, лет семьдесят, она прожила свой век во Львове, а теперь ей предстояло рассказать об Октябрьской революции. Ирина Петровна всегда говорила одну фразу: «Я буду рассказывать вам то, о чем не имею понятия». Затем брала учебник и... читала. И нам было позволено отвечать урок, глядя в книгу. В этот момент Ирина Петровна деликатно отводила взгляд, смотрела в окно на пересыльную тюрьму и слушала рассказ о победе социализма...

Помню, как из нашего дома забрали дворника. Наверное, он тоже был бандеровцем или их пособ-

ником? Дверь дворничкой осталась открытой, но никто не осмеливался туда зайти, только я вбежал в комнату и схватил выходящую на полу книжку Симонова «Дни и ночи». Спустя какое-то время в школе объявили сбор книг для детской библиотеки.

Не долго думая, я отнес томик, найденный у дворника. Библиотекарша испуганно оглянулась, запрела и шепотом спросила: «Где ты это взял?» Я честно ответил. Она сказала: «Забудь! Ты этой книжки не видел. Ее написал враг народа». Оказывается, и Симонов угодил в списки запрещенных авторов. Откуда же я мог это знать?..

Первые пачки денег
При этом я был полон патриотизма, нормального детского патриотизма. Я обожал советские самолеты и фильмы. Первая картина, увиденная мною, называлась «Как закалялась сталь». Моей любимой книжкой была «Молодая гвардия». Во всех городских и областных школах в дворце пионеров мне присуждали первое место.

Когда я читал мемуары Олега Кошова о матери, зал плакал. Помню, сидевший в президиум заслуженный артист Украины Микола Яренский взял меня к себе на колени и громко сказал, обращаясь к собравшимся: «Это гений. Запомните его фамилию, он наш гений!» Это слово я услышал впервые и, гордый, прибежал домой, крича: «Я гений! Гений!» Никакого успеха мой вопль

не имел. Родные не поверили мне — ни тогда, ни потом. Через годы, впервые получив большой — по советским, конечно, меркам — гонорар, я разменял его на пачку рублевых купюр, приехал во Львов и, как богат, почти миллионер, стал разбрасывать пачки по квартире. Ждал подтверждения, что все-таки я гений, родные должны были закричать об этом, но мама сказала: «Он все укра... В сознании родителей не укладывалось, что я смогу много зарабатывать на сцене. И это притом что я всегда был сыном театра. Какая-то иррациональная сила тянула меня за кулисы, я пропал там сутками, ради сцены готов был на все. Когда учительница литературы взялась за постановку поэмы Агитер «Зоя Космодемьянская», я добился, чтобы мама всю жизнь занималась лбом, детьми. Кроме меня, в семье росли еще две девочки — Богдана и Христина. Помню, что дверь нашей квартиры на площади Рынок никогда не закрывалась. Однажды у нас во дворе появилась еврейская семья. Это случилось уже после войны. У Мамаутов было десять или двенадцать детей, и все они голодали, потому что взрослые не имели работы. Аба играл на барабанах, но кому тогда нужны были музыканты? Дети приходили к нам и знали, что здесь их всегда чем-нибудь накормят. Сегодня Фрида, Моня, Яша и все остальные живут в Израиле. Я приезжаю туда, мы встречаемся, и у них на устах только одно имя: Катруся... Это правда.

И я играл! Дома не понимали, что происходит. Ни о какой Зое и партизанах родители, конечно, не слышали, для них это был пустой звук. А я верил, что дух Зои вселился в меня! А какой бешеный успех был, когда в доме офицеров я читал отрывок из какой-то книжки (уже не вспомню название) о Лизе Чайкиной. Сколько раз меня вызывали на

бис! И этого ни разу, повторяю, ни разу не видели родители. Ни моего Олега Кошова, ни Зою, ни Лизу, ни стихов о красном глотке. «Как повяжешь галстук, береги его...»

Родители и партбилет
...Я рисую в воображении лица родителей, пытаюсь услышать, как они зовут друг друга: Катруся, Гриць... Вуку маму и папу фрагментарно, но на всех картинках обязательно присутствует любовь. Мама всю жизнь занималась лбом, детьми. Кроме меня, в семье росли еще две девочки — Богдана и Христина. Помню, что дверь нашей квартиры на площади Рынок никогда не закрывалась. Однажды у нас во дворе появилась еврейская семья. Это случилось уже после войны. У Мамаутов было десять или двенадцать детей, и все они голодали, потому что взрослые не имели работы. Аба играл на барабанах, но кому тогда нужны были музыканты? Дети приходили к нам и знали, что здесь их всегда чем-нибудь накормят. Сегодня Фрида, Моня, Яша и все остальные живут в Израиле. Я приезжаю туда, мы встречаемся, и у них на устах только одно имя: Катруся... Это правда.

Когда во Львов пришли русские солдаты, в нашей небольшой квартире размещалось до двадцати пяти красноармейцев. Они спали на полу. Все, что было в доме, делилось поровну. Помню, эти молодые ребята называли маму Катей, а папу Гришей, что меня страшно удивляло. Помню, как они приносили выпивку и начиналась тайная вечеря. В центре стола восседала мама. Она не пила, но занимала место, словно Христос. И все руки с гранеными стаканами тянулись к ней.

Солдатики что-то говорили на языке, который я тогда не понимал, но по тону чувствовал, что это слова любви. Уходя из нашего дома, красноармейцы обнимали маму, благодарили и словно случайно старались забыть котелки, ложки, скатки шинелей. Они шли на Западную Украину воевать, ждали выстрелов в спину, а здесь их встретило тепло... От папы я никогда не слышал плохого слова о советской власти, Ленине или Сталине. Только — улыбка. Папа считал, что я должен сам во всем разобраться. При этом папа состоял в компартии и даже потом, когда Союз развалился, не стал выходить из компартии, оставаясь членом компартии. Он так и лежит в ящике письменного стола. До сих пор... Я никогда не спрашивал, зачем папа вступал в КПСС.

Боже упаси! Значит, так нужно. Он ведь всю жизнь учил детей, преподавал украинскую литературу, и это было для него важнее партбилета.

Если бы я умел фотографировать и попытался восстановить эпизоды жизни с родителями, то наверняка обнаружил бы, что на моей пленке много светлых, словно испорченных кадров. Это вспышки эрировой энергии, которую несет в себе любовь. Она всегда присутствовала в моей жизни...

Присягал 36 раз
Подлинная история нашего сознания начинается с первой лжи, поэтому так важно ее помнить. Попробуй ложь может спасти слово «почти». Почти солгал — и тем самым заострил контур правды. Я долго был соучастником большой лжи. Почти был. Почти лгал. Но не в жизни — на сцене. Когда меня призывали в армию и пришло время кричать клятву на верность родине, я так старался, что потряс командира полка своим талантом. Полковник сказал: «Ты мне нравишься, ты можешь быть предателем, запропадом. Думаю, это понятно. Что бы я ни делал, где бы ни жил, я всегда буду предан отчизне! Делал это с невероятным патриотизмом, динамизмом и экспрессией. Командир меня обожал!»

Но я не зря сказал про слово «почти». Когда во Львов впервые приехал Никита Хрущев с женой, мне поручили подготовить пионерское приветствие в честь дорогого гостя. В то время я уже руководил детским театром во дворце пионеров и отобрал для выступления человека тридцать. Список передал в обком партии на утверждение. На следующий день меня вызвали: «Изволяетесь, товарищ Виктюк? Где здесь украинцы?» Говорю: «Я украинец». Оказалось, в списке сплошные евреи — Фельдман, Гельфман, Фабрикант... От меня потребовали заменить детей, чтобы секретаря ЦК поздравляли истинные, ширые украинцы. Я отказался... В итоге пришлось выпускать на сцену жиловское семья. Правда, КГБ подслушивал и переделал фамилии ребят на украинский лад — Фельдмановская, Гельфмановский,

ледным моим представлением во Львове будет спектакль под названием «Город без любви». Все так и произошло. Меня выгнали.

Партийная власть не разрешала мне работать даже в филармонии с программой из произведений Тараса Шевченко и Леси Украинки. Мою фамилию старательно закливали в афишах. Мне ничего не оставалось, как вновь покинуть город. Теперь уже навсегда. Хотя... Неловко меня прозвали в рыцарях Львова. Этого звания за всю историю удостоивались лишь трое — композитор Колеса, великий Шопен и я. Думаю, если бы родители были живы, может, впервые они сказали бы: наш ребенок — гений. Но этому не суждено было осуществиться...

Когда Украина стала самостоятельной и независимой, я начал чаще присягать сюда. Чтобы не слушать обвинений в измене, сам себя называю запропадом. Это украинское слово. Тот, кто не боится так о себе говорить, не может быть предателем, запропадом. Думаю, это понятно. Что бы я ни делал, где бы ни жил, я всегда буду предан отчизне! Делал это с невероятным патриотизмом, динамизмом и экспрессией. Командир меня обожал!

Роман Виктюк: декорация моей жизни

Командировка знаменитого режиссера Романа Виктюка и обозревателя «Собеседника» Андрея Ванденко в древний украинский город Львов



Фабрикантчук... Дети, хохоча, подбегали ко мне и рассказывали, какие неграмотные люди составляли списки... Прошли годы, ребята выросли и поняли, каково мне было отставать их на сцене. Зато сегодня я приезжаю в Тель-Авив, Нью-Йорк или Торонто, и все эти Фельдмановские и Гельфманские приходы на мои спектакли, пробираются за кулисы, троллями повисают на мне и рыдают. Тогда я снова переносусь во Львов и остро ощущаю, чем ложь отличается от почти лжи...

Возвращение в город без любви
И все-таки я уехал из Львова. Бежал в Москву. Поступил в ГИТИС. Но корни были столь сильными, что я не мог не вернуться сюда. Начал работать в театре юного зрителя, играл, ставил, однако чувствовал: рано или поздно случится так, что мне покажут на дверь, и пос-

«...В каждый приезд во Львов я обязательно иду на кладбище. Это не ритуал, а подтверждение мысли, которая для меня очень важна. Мысли, что есть мир живых и мир ушедших. Между этими мирами лежит мост. Мост нашей любви. На Лычаковском кладбище не только мои родители, но и учителя, друзья, коллеги, даже ученики. Каждый раз, приезжая во Львов, я обнаруживаю новые и новые могилы знакомых. Иногда кажется, что мой город уже переселился на кладбище. Я хожу между могил, кладу цветы на плиты, разговариваю... Потом иду в церковь на улице Русской. В церковь, в которой отпевали родителей. Ставлю свечу, зазываю службу...»

«...Есть замечательный венгерский поэт Чеслав Милош, цитируя из которого я и закончу: «Сердце бьет тогда, когда надо бы разорваться». Все!

Вуйко Вик Роман Григорьевич

20.06.02